

Третьи просто мало кому известны, незачем их популяризировать лишний раз. Четвёртые не имеют отношения к нашей теме. Например, у Е. П. Блаватской есть и «арийская раса», и Атлантида, а у её последователей — даже и Шамбала, однако нет других компонентов расистского мифа. Поскольку расисты были плагиаторами, поскольку они обворовывали многих авторов, нет смысла искать, у кого совпадает хоть одно ключевое слово.

Не будем рассматривать мифы классического национализма XIX века — автотонистские или миграционистские. На эту тему уже существует обширная литература. Равным образом не будем говорить и о тех чисто идеологических мифах, в которые в СССР нередко превращали марксизм. Само учение К. Маркса — сугубо рационалистическое. При этом К. Маркс и Ф. Энгельс не «ниспровергали» науку своего времени, а напротив, опирались на её достижения и в то же время смогли создать научную методологию, долго и успешно соперничавшую с позитивизмом (см. подробнее: Мосионжик 2011: 56—64). Что же до питомцев сталинской и сусловской выучки — чиновников от науки, пытавшихся «марксистский базис под жакетку подвести» и портивших кровь подлинным историкам (в том числе и историкам-марксистам), то у них нет идей, с которыми стоило бы спорить. И даже западная марксистская мысль с 1960-х годов двигалась вперёд без помощи советских идеологических работников, а то и в острой борьбе с ними (вспомним дискуссию об «азиатском способе производства», начатую французскими историками-марксистами М. Годелье и Ж. Сюре-Каналем). Хотя надо признать: тот стиль мышления, который эти идеологические работники насадили в СССР, — начётнический, ориентированный не на поиск научной истины, а только на политический заказ, — после их ухода облегчил расцвет псевдонаучной мифологии.

Но есть среди этих концепций одна, мимо которой молча пройти нельзя — в силу как её глубокой разработанности, так и популярности в современных странах СНГ. Это — историческая концепция Л. Н. Гумилёва.

### **II.3. Л. Н. Гумилёв и споры вокруг его трудов**

Ни сам этот автор, ни его основные идеи не нуждаются в длинном представлении. Лев Николаевич Гумилёв — сын двух поэтов (Николая Гумилёва и Анны Ахматовой) и сам поэт, едва ли не последний питомец русского Серебряного века. Советской властью он, мягко говоря, не был обласкан. Как «член семьи врага народа» (ЧСВН, как тогда сокращали), он долгие годы провёл в ГУЛАГе. Сидел, как сам горько шутил, «один раз за папу, один раз за маму...» Обстановку, в которой этот человек делал первые шаги в науке, позволяют представить такие эпизоды. В 1946 г., после лагеря, а затем — армии, Л. Н. Гумилёв защищал в ЛГУ дипломную работу. Р. Ш. Ганелин вспоминает «особенно поразивший меня отзыв А. Н. Бернштама о работе Л. Н. Гумилёва <...>. Бернштам был решительно не согласен с его работой, но дал ей высочайшую оценку». Примерно через два года последовала кандидатская диссертация — позже, спустя двадцать лет, когда Р. Ш. Ганелин спросил Н. Г. Сладкевича, «каким образом стали возможны эти две защиты» (Гумилёва и Л. Эльковича, тоже ЧСВН), собеседник «сообщил, что устроил дело Молотов». А вскоре после защиты Л. Н. Гумилёв получил третий лагерный срок (Ганелин 2006: 59), причём считал, что обязан этим тому же А. Н. Бернштаму (Клейн 2010: 72).

Такого хватило бы, чтобы сломать человека и более закалённого, чем «размагниченный интеллигент» (как говорили в 20-е годы с лёгкой руки М. Горького). Он — не сломался (хотя жуткая атмосфера лагерей, конечно, не могла не оставить в нём свой след, что отмечали и его критики — Клейн 1992; 244—245; Янов 1992). Всё прошёл, всё выдержал, а в перерывах между сроками окончил Ленинградский университет и защитил диссертации. Стал одним из немногих в тогдашнем СССР специалистов-востоковедов (сохранилось письмо А. Фадеева Сталину, об освобождении Гумилёва именно на том основании, что он очень ценен как специалист). В сущности, он первым написал связную историю кочевников в масштабах всей Евразии.

В 1960 г. вышла его первая крупная книга — «Хунну». Одно лишь имя на обложке поразило читателей: значит, снова можно! Однако и после этого он не вошёл в «обойму» живых классиков. Академическая верхушка его не столько признавала, сколько терпела. Не обошлось и без злонамеренной критики — со стороны не учёных, а «квасных патриотов»-публицистов: половина нашумевшего романа «Память» Вл. Чивилихина — поношение Гумилёва за недостаточный, по мнению автора, патриотизм. Говорят, что Гумилёв в сердцах сказал: уж с этим-то его предки не стали бы драться на дуэли, а отослали бы на конюшню — высечь<sup>26</sup>. Подлинно культовым автором он стал лишь в последние годы жизни — до этого мешали ограниченные тиражи.

Личность, сумевшая пройти такой жизненный путь и не согнуться, достойна всяческого уважения. Однако мы будем говорить не о личности, а о концепции Гумилёва. Принципы её оставались неизменными от «Хунну» до конца жизни автора. Изложены же они были в публикациях, до 1990-х годов остававшихся труднодоступными.

В театре духовной жизни бывшего СССР Л. Н. Гумилёв — кандидат №1 на роль Сфинкса. Культовая фигура для одних, «Жюль Верн от истории» для других, он до сих пор ускользает от объективной оценки. Однако виной тому — не «двуликость» самого Гумилёва, а раздвоенность его публики. Признанные учёные обсуждают его в своём кругу (и на своём языке), «духовка» (малые и обычно неформальные группы, пытающиеся собственными силами обрести утраченную «духовность») — в своём. Как будто эти миры разделены китайской стеной, как будто есть такая Касталия, где можно всю жизнь играть в бисер (безразлично, научный или «духовный»), даже не задумываясь: а что творится вокруг, и каковы для этого внешнего мира результаты нашей игры?

Известный публицист А. Л. Янов удивляется: «Почему за все эти годы никто в России не подверг его гипотезу элементарной научной проверке, и в результате сейчас, в годы развала, она, по выражению “Литературной газеты”, “пьянит страну”?» (Янов 1992: 112). Это неверно. Труды Л. Н. Гумилёва не были обойдены полным

<sup>26</sup> Сам Л. Н. Гумилёв в «Справке» упоминает окончание этого романа как «содержащее резкие выпады» в свой адрес и «необоснованные обвинения в биологизме, “географическом детерминизме”, повторяющие в более наглой форме обвинения В. И. Козлова (“Вопросы истории”, 1974, № 12)» (Гумилёв 1987/1997: 636). Странно, что оклеветанный автор так мягко отошёлся о противнике, написавшем на него, в сущности, публичный политический донос. Однако некоторые обвинения В. Чивилихина, несмотря на их скандальность, недопустимый тон и заметную вооружённым глазом антинаучность, оказались неудобным опровергать с точки зрения самой же гумилёвской концепции.

молчанием в советских научных кругах. Уже Ю. В. Бромлей (1970) своей статьёй в журнале *«Природа»* открыл научное обсуждение его идей: перечислив пять вариантов определения этноса, он согласился с вариантом Гумилёва (Бромлей 1970: 53, 54; там же, сн.8). Впрочем, позиция его была осторожной. Ю. В. Бромлей, в то время членкор АН СССР (позже академик), директор Института этнографии, которого Л. С. Клейн назвал «типичным брежневским вельможей в науке», прежде всего должен был обеспечить спокойствие и бесконфликтность в своей епархии. Он готов был умеренно покровительствовать историку со знаменитым именем и с лагерным прошлым, но не настолько, чтобы из-за него ссориться с могущественным главой Отделения истории АН СССР — академиком Б. А. Рыбаковым.

Рыбаков же откликнулся на первую же книгу, в которой Гумилёв затронул его научную тематику, — *«Поиски вымышленного царства»*. Откликнулся через полгода после её выхода в свет — практически сразу по прочтении. Хотя в руках у него были инструменты административного зажима (которые он применил, например, против А. А. Зимина — как и Гумилёв, оспорившего аутентичность *«Слова о полку Игореве»* и отнёсшего его автора к XVIII в.), — на сей раз официальный лидер советских историков и археологов смог обойтись без таких приёмов. Достаточно оказалось той самой «элементарной научной проверки», на отсутствие которой жаловался А. Л. Янов. Как-никак, но Б. А. Рыбаков был специалистом по Древней Руси. Ему не составило труда уличить Л. Н. Гумилёва в незнакомстве с конкретикой, в «чудовищном искажении летописей», в которые тот даже не заглянул — «нет ни одной ссылки!» (Рыбаков 1971: 155), в перетасовке хронологии, наконец, в нарушении научно-исследовательской процедуры, а то и логики: «Его, Л. Н. Гумилева, удивляет будто бы уловленное им расхождение в оценке событий летописцем и поэтом <...>. “Кому верить?” — восклицает историк и отвечает сам себе: “Конечно, летописи!” — а сам переходит к комментированию поэмы» (: 157—158). Особенно подробно академик остановился на пренебрежении критикой источников и историографией своей проблемы — пренебрежении, под которое Л. Н. Гумилёв подвёл теоретическую базу.

«Редактор сослужил плохую службу своему подопечному автору, раскрыв его скоростной метод изготовления книг: “Для того чтобы обычными методами достичь того, что сделано в данной книге, пришлось бы написать минимум четыре монографии, доступные только узкому кругу специалистов, и затратить на это всю жизнь. Метод Л. Н. Гумилева позволил избежать такой траты сил... Он вкратце может быть охарактеризован как применение исторической дедукции к накопленному материалу в отличие от общепринятого индуктивного метода” (предисловие С. И. Руденко к рассматриваемой книге, стр. 5—6)» (Рыбаков 1971: 154; см.: Гумилёв 1970: 5—6).

Это выражение — «скоростной метод» — в статье академика превратилось в ярлык. Но и в самом деле, неужели никому до сих пор не удавалось «достичь того, что сделано в данной книге», ещё при жизни? Неужели вопрос и в самом деле стоит так: или монографии — или историческая концепция?

Л. Н. Гумилёв мало что сумел возразить по сути дела. В сущности, для ответа он выбрал лишь один из затронутых Б. А. Рыбаковым вопросов: «Может ли произведение изящной словесности быть историческим памятником?» (Гумилёв 1972). А тут и проблемы нет — достаточно сослаться на использование гомеровского эпоса или комедий Аристофана в качестве исторических источников. И Б. А. Рыбаков упре-

кал автора не в том, что он пользуется литературными произведениями, а в том, что он использует их *вместо* собственно исторических памятников, многочисленных и достаточно известных. В частности, Л. Н. Гумилёв в «*Этногенезе и биосфере Земли*» (VIII, XXX,2) реконструирует нравы времён Ивана Грозного по лермонтовской «*Песне про купца Калашникова*» (Гумилёв 1997: 431). Так можно было бы поступать (и то с большими оговорками) лишь в том случае, если бы аутентичных источников той эпохи у нас не было вовсе.

Правда, не обошлось без серьёзной накладки. Я. С. Лурье, крупный специалист по древнерусской литературе, согласился с критическими возражениями Б. А. Рыбакова и даже дополнил их своими аргументами, но при этом заметил, что исторические реконструкции самого «Московского Академика» (как его тогда острожно обозначали в кулуарах) построены по той же схеме. Эту схему он назвал «гипополептической» — основанной не на научных гипотезах, опирающихся на факты, а на догадках, к которым затем факты притягиваются (по-гречески ὑπόθεσις — принцип, тема, догадка, предположение; λήψις — захват, исходное предположение; ὑποληπτός — могущий быть предметом предположения, мыслимый). А это выводило обоих оппонентов из сферы науки в сферу исторической беллетристики, интригующей, но ничего не доказывающей (Лурье 1990; см. тж.: Пропп 1962). В 1976 г. Я. С. Лурье сделал об этом доклад, после чего ему «предложили» снять для печати все аргументы против Б. А. Рыбакова. Иными словами — не трогать сановитого автора, а обрушиться только на полуопального, «работы которого публиковались в те годы с большим трудом и подвергались широкой критике» (Лурье 1990: 129). Я. С. Лурье поступил благородно: вообще отказался публиковать материалы об этой дискуссии. Статья увидела свет лишь под конец перестройки, когда оба критикуемых автора были ещё живы, а Б. А. Рыбаков — формально даже ещё занимал высокий пост. Против реконструкций славянского язычества у Б. А. Рыбакова в те годы выступал и Л. С. Клейн. Его недавний развёрнутый анализ рыбаковской концепции (Клейн 2004: 68—105) избавляет автора этих строк от необходимости углубляться в данную тему.

Так или иначе, но после этого и Ю. В. Бромлей (ставший академиком) изменил свою тактику. С 1973 г. он не раз блокировал печатание новых работ Гумилёва, хотя негласно продолжал пользоваться его разработками. В 1984 г. Л. Н. Гумилёв и К. П. Иванов направили в «*Вопросы истории*» статью о том, «что академик Ю. В. Бромлей использует в своих монографиях 29 основных положений концепции Л. Н. Гумилёва об этносе без ссылок». Эта статья вышла лишь через год — в «*Известиях ВГО*» (1985, № 3) с перечнем лишь «основных заимствований» и за подписью одного лишь К. П. Иванова. Так, во всяком случае, излагает эту историю сам Л. Н. Гумилёв (1987/1997: 637) в «*Справке*» о механизме зажима своих публикаций. Ю. В. Бромлей же ответил на обвинение статьёй «*По поводу одного “автонекролога”*», где указывал, в частности, что эти «29 основных положений» — не научная собственность Л. Н. Гумилёва, что они были выдвинуты задолго до него: например, понятие «этнос» известно уже 200 лет, а современная его трактовка восходит ещё к С. М. Широкогорову.

Со своей стороны, крупный польский историк Древней Руси профессор А. Поппе воспринял книгу Л. Н. Гумилёва как роман в стиле исторической *fantasy* и не понимал, почему Б. А. Рыбаков принял его всерьёз и вступил в научную поле-

мику. На его статью ссылаются и Я. С. Лурье (1994: 176), и Ю. И. Семёнов (2003). Мнение это было тем обиднее для обеих спорящих сторон, что появилось за рубежом — стало быть, сор был вынесен из избы.

Конечно, слависты не могли проверить утверждения Л. Н. Гумилёва насчёт, например, истории Китая. Однако крупные китаеведы М. В. Крюков, В. В. Малявин и М. В. Софронов (1979: 8) в книге, посвящённой тому же периоду, что и «*Хуны в Китае*», отмечали, «что “основными использованными источниками” являются у Л. Н. Гумилева такие материалы, которые в действительности “представляются второстепенными в общей совокупности источников, имеющихся сегодня в распоряжении исследователя”». Впрочем, в следующей книге той же серии эти авторы пользовались данными, приводимыми Л. Н. Гумилёвым (Крюков, Малявин, Софронов 1984: 67, 142, 153, 272—273), и его стихотворными переводами (: 140), хотя не всегда соглашались с его интерпретациями: «Анализируя факты этнической истории китайцев в первых веках н. э., мы отвергли вывод Л. Н. Гумилёва о существовании в это время двух китайских этносов» (Крюков, Малявин, Софронов 1984: 277, со ссылкой на: они же 1979: 279—280).

В дальнейшем с критикой идеи Л. Н. Гумилёва выступали Л. С. Клейн (1992, статья написана в конце 1960-х — начале 70-х годов), А. М. Хазанов — крупнейший советский специалист по кочевым народам античности, И. М. Дьяконов и другие видные учёные. Когда в 1981 г. популяризатор идей Л. Н. Гумилёва Ю. М. Бородай изложил в статье «*Этнические контакты и окружающая среда*» (журнал «*Природа*») принципы гумилёвского учения, почти немедленно последовала отповедь Б. М. Кедрова, И. Р. Григулевича и И. А. Крывелёва (1982) на страницах того же журнала.

Таким образом, академический мир не «замалчивал» творчество Л. Н. Гумилёва, но проанализировал его идеи и довольно быстро выяснил, что эта историческая концепция находится за пределами науки, а потому и научный спор тут неуместен («Соглашаться трудно, но и опровергать нечего» — Рыбаков 1971: 157). Другому это стоило бы учёной карьеры. Тем не менее и после такого вердикта Л. Н. Гумилёв продолжал публиковаться, в том числе и в академических изданиях (хотя и с трудом — впрочем, как и многие авторы, для которых принципиальность была важнее карьеры), а в 1974 г. защитил вторую докторскую диссертацию — по географии. Между тем ему тогда было уже 62 года — при желании его могли бы без шума (как и было принято в брежневскую эпоху) отправить на пенсию по возрасту. Нет, его признавали учёным — талантливым, хотя и не без странностей. Те же, кто уже тогда, быть может, понимали возможные опасные следствия гумилёвской концепции, — молчали, чтобы не отравлять ещё более жизнь автору: «Л. Н. Гумилев был человеком, пострадавшим от власти, гонимым, и никому не хотелось присоединяться к гонителям» (Семёнов 2003). Не забудем, ведь это было время после XX съезда, когда была восстановлена в правах такая традиционная русская добродетель, как «милость к падшим» (неважно, отчего они пали), а власть вновь перестала быть верховным судьёй чести и совести. По поводу упомянутой статьи трёх авторов Лорен Грэхэм пишет:

«Во время беседы, состоявшейся у меня с академиком Кедровым вскоре после публикации этой статьи, он объяснил, что не назвал Гумилёва и Бородаю “расистами” потому, что те не утверждали превосходство одной расы над другими, они просто выска-

зывались против смешанных браков между представителями различных этнических групп; более того, Кедров сказал, что он и его коллеги сознательно избегали тех эпитетов, которые ранее употреблялись в ходе философских дискуссий в Советском Союзе с целью дискредитации оппонентов, а не с целью изучения предмета спора» (Грэхэм 1991: 254—255).

А тем временем среди читающей публики своим чередом складывался культ Гумилёва — «сына двух поэтов» (эта фраза уже шаблонна, хоть и верна), отважного реформатора истории, чуть ли не диссидента. Отблеск Серебряного века и имени великой Ахматовой, колоссальная образованность, полученная в перерывах между тюремными сроками, лагеря, из которых он вышел несломленным, — это внушало (и продолжает внушать) уважение. «Лев Гумилёв был одним из самых талантливых и, без сомнения, самым эрудированным представителем молчаливого большинства советской интеллигенции» (Янов 1992: 104). На фоне скучных, хотя и «идейно выдержанных», трудов большинства официальных историков его тогдашние книги ощущались глотком свежего воздуха, ворвавшимся в спёртую атмосферу (личное впечатление автора этих строк, в то время школьника). В них была иная точка зрения на прошлое, более человеческая, чем школьный диамат, в них была поэзия и романтика. С ними начинало казаться логически связным то, что прежде казалось дурной бесконечностью однообразных событий. Оказалось, что история может быть увлекательной, что она допускает варианты.

«В своих мемуарах, опубликованных за границей, Раиса Берг вспоминает о популярности идей Гумилёва среди молодых советских студентов 70-х годов. Вспоминая атмосферу дискуссии на факультете прикладной математики университета, в которой она принимала участие вместе с Гумилёвым, Берг пишет о том, что они чувствовали себя как в “оазисе среди пустыни декретированной науки”. Вместе с тем она пишет и о том, что в интерпретациях Гумилёва было “нечто от астрологии, нечто совершенно неприемлемое” для неё как биолога» (Грэхэм 1991: 250).

То, что эти книги трудно было достать, лишь усиливало ореол учёного-мученика. Отсутствие ссылок в официальных научных трудах воспринималось как заговор молчания, такой же, как вокруг имён Сахарова и Солженицына. А сочувственная оценка Гумилёвым роли азиатских народов, его выступления против ультра-патриотизма (и его травля ультра-патриотами, вроде В. Чивилихина с его «Памятью»), его исторические полотна, на которых Русь оказывалась частью громадного, незнакомого и безумно интересного мира, — всё это казалось отстаиванием идеалов интернационализма. Как ни оценивать советскую эпоху российской истории, но было в ней и то положительное, что народы поняли и приняли. Интернационализм — едва ли не главное в этом наследии.

Похоже, что культ воздействовал и на самого героя, вокруг которого складывался. Уже в статье 1977 г. «С точки зрения Клио» Л. Н. Гумилёв ставил свои заслуги в один ряд с раскопками Трои и Вавилона (Гумилёв 1977: 262). А «справку» о том, как тормозились его публикации, он в 1987 г. завершил без лишней скромности — и в то время поверить его словам готовы были почти все мыслящие люди в стране:

«Итого за период с 1975 по 1985 г. опубликована только 21 статья объёмом около 16 п. л. Общий объём отвергнутых работ около 82 п. л. (это в основном монографии).



Вывод: фундаментальное направление советской науки было задержано в своём развитии на 11 лет» (Гумилёв 1987/1997: 638).

Советская цензура, о которой немногие скажут доброе слово, очень помогла Льву Николаевичу. Пропустив «степную трилогию», она оставила на полке *«Этногенез и биосферу Земли»*, *«Древнюю Русь и Великую Степь»*. И тем самым помогла формированию мифа. О такой судьбе мечтал другой автор со столь же неоднозначным наследием:

Расспрашивайте про меня  
Лишь у моих же книг.

(Р. Киплинг. По вкусу если труд был мой...)

Всё изменилось в начале 1990-х, с публикацией прежде запретных произведений и последними интервью Л. Н. Гумилёва. Именно тогда *«Наш современник»*, ещё в 1980 г. печатавший чивилихинский роман, устами своего корреспондента обратился к нему: «Сегодня вы представляете единственную серьёзную историческую школу в России» (Гумилёв 1991: 132). Демократическая же интеллигенция была потрясена: как, и это тот же Гумилёв, «рыжий львёныш с глазами зелёными» (М. Цветаева)?! Особенно шокирующим был *теоретический* антисемитизм *«Древней Руси и Великой Степи»*. Л. С. Клейн, знавший Гумилёва лично — по экспедиции М. И. Артамонова в Саркеле, а затем по совместному преподаванию в ЛГУ, хотя и на разных факультетах, — писал: «Могу засвидетельствовать, что в личном общении Лев Николаевич — очень воспитанный и доброжелательный человек, безусловно не антисемит. Но как читатель я должен признать, что в книгах Л. Н. Гумилева, к сожалению, есть основания для тех критических претензий, которые предъявлены читателем А. Тюриным и поддержаны авторитетнейшим ученым И. М. Дьяконовым» (Клейн 1992: 228). Постепенно память учёного, умершего в том же 1992 г., «приватизировали» крайне правые силы — не столько почвенники, сколько реваншисты.

Лучше бы этого не случилось. Лучше бы Гумилёв так и остался автором «степной трилогии», а не *«Этногенеза и биосферы Земли»*, не *«Географии этноса в исторический период»*<sup>27</sup> и не *«Древней Руси и Великой Степи»*. А столичные историки и географы, знающие суть дела, на восторги провинциала: «О да, Гумилёв!!» — продолжали бы тактично отмалчиваться. Не хотелось верить, что эти книги писала та же рука.

Учёный мир понял, что целомудренное и милосердное молчание далее невозможно. Вновь начали появляться критические статьи. К старым аргументам прибавились новые: со времён «степной трилогии» (и в немалой мере благодаря ей, вызванному ей интересу к кочевникам) востоковедение шагнуло вперёд, многое удалось проверить. Всё чаще затрагивается тема связи между наследием Л. Н. Гумилёва и правым экстремизмом. «Учение Гумилева» может стать идеальным фундаментом российской «коричневой» идеологии, в которой так отчаянно нуждается Русская Новая Правая» (Янов 1992: 114); «И действительно, произведения Л. Н. Гумилева претендуют на то, чтобы стать знаменем для политических группировок шови-

<sup>27</sup> Эта книга — своего рода теоретический экстракт *«Этногенеза и биосферы Земли»*, сокращённый более чем вдвое. В ней повторяются (хотя иногда в другом графическом оформлении) основные образительные материалы из *«Этногенеза»*, все важнейшие идеи (нередко буквально теми же словами). Некоторые моменты подчеркнуты резче, чем в исходном труде: например, целая глава посвящена тому, что «этнос — не раса» (Гумилёв 1990: 13—16). Сокращения же коснулись в основном литературной стороны и «парадов примеров».

нистического толка, вроде «Памяти»» (Клейн 1992: 228). Наконец, открыто зазвучало слово «фашизм».

Однако столь тяжкое обвинение так и повисло в воздухе, оставшись бранным ярлыком. Действительно, можно доказать опасные следствия гумилёвских принципов, но чтобы объявить их фашистскими, надо сначала объяснить: а что такое фашизм? Советские люди обычно знали только его внешнюю сторону, «на экспорт»: завоевательная политика, крайний антисемитизм и враждебность к славянам, силовые методы решения любых вопросов, пропагандистская ложь. А какое лицо показывал фашизм гражданам *своих* стран? Почему немец, с которым беседовал Н. Коржавин, признал нацизм<sup>28</sup> (на время которого пришлась его юность) несомненным злом, но затем, в ответ на новый вопрос, откровенно сказал со вздохом: «Это было лучшее время моей жизни. — Почему?! — Вы не немец, вам не понять»? Советская пропаганда, оберегавшая нас от этой идеологической заразы, добилась обратного эффекта: теперь у нас нет иммунитета, мы даже не знаем врага в лицо. И на наших глазах люди, убеждённые в своём антифашизме, начинают делать фашистскую политику и идеологию, сами того не замечая.

Сопоставление показывает, что «миф крови» А. Розенберга и «хронософия» Л. Н. Гумилёва совпадают более чем по двум десяткам пунктов. И это несмотря на то, что и по эрудиции, и по научному уровню, и по писательскому дарованию Гумилёв на десять голов выше тёмного обскуранта Розенберга, с которым его, казалось бы, и равнять-то зазорно.

Подозревать прямое влияние здесь невозможно: Л. Н. Гумилёв не мог быть знаком с нацистскими сочинениями, да и к самим нацистам относился без всяких симпатий<sup>29</sup>. В любом случае он не читал книгу А. Розенберга, а если бы и знал её

---

<sup>28</sup> Э. И. Колчинский (2007: 10, сн.3) предостерегает от смешения понятия нацизма с фашизмом, «который исторически связан, прежде всего, с политическим движением Б. Муссолини, а не А. Гитлера», и даже полагает: «Смешение понятий “фашизм” и “национал-социализм” было намеренной пропагандистской абберрацией СДПГ и КПГ в 1920 х гг., с удовольствием подхваченной сталинскими идеологами и Коминтерном». С этим можно согласиться лишь до известных пределов. Да, между движениями Гитлера и Муссолини есть много различий, но общего — столько, что в научных (а не политических) целях они естественно классифицируются в одну графу — «фашизм» в широком смысле слова. Обойтись для этой графы определением «тоталитаризм» не удастся, поскольку его относят и к коммунизму, но при этом у коммунизма столько отличий от любых форм фашизма (причём отличий не внешних, а сущностных), что по некоторым пунктам их невозможно даже сравнивать.

<sup>29</sup> Правда, один канал передачи информации всё же можно заподозрить. В 1967—1968 гг. Л. Н. Гумилёв близко сотрудничал с Н. В. Тимофеевым-Ресовским, даже планировал издать совместный труд, но вскоре между ними произошёл разрыв (Гумилёв 1997: 615—617, 619—626). Между тем Н. В. Тимофеев-Ресовский до самой Победы жил в Германии (с советским паспортом) и сотрудничал с немецкими генетиками. Больше того: «К удивлению своих американских коллег М. Демереца и Л. Дана, которые считали, что Тимофееву-Ресовскому грозит опасность в нацистской Германии, он отклонил их предложения эмигрировать в США, используя саму переписку по этому вопросу для торга с нацистами» (Колчинский 2007: 444). Он не мог не быть хотя бы в курсе того, в чём именно состоят нацистские идеи. Однако такая версия кажется всё же несостоятельной. Во-первых, «Зубр» даже в Германии демонстрировал своё неприятие нацизма. По рассказу А. Мюнтцинга, «во время посещения какой-то делегацией лаборатории Тимофеева-Ресовского передавали речь Гитлера: все должны были молчать и слушать ее стоя. И среди всеобщего молчания отчетливо слышны были слова Тимофеева-



в пересказе, то не мог бы вдохновиться столь примитивной идеологией — если только сам не пришёл к ней раньше, а в таком случае роль рассказчика была бы ничтожна. Нельзя исключить общность первоисточников. Гумилёв сам признавал себя «последним евразийцем», хотя в то же время никогда не оспаривал и марксизма, встречался с П. Н. Савицким в 1966 г. и ссылался на информацию, полученную при этих встречах (Гумилёв 1991 а: 24). Розенберг же, как мы уже говорили, несомненно, был знаком с кругом идей славянофилов (из которого и выросло евразийство) — но знаком самое большее из третьих рук, никого из них (если не считать Достоевского — скорее писателя, чем философа, и в любом случае не учёного-теоретика) он в своей книге не упоминает.

Нельзя также исключить и общую социальную основу этих концепций. И Гумилёв, и Розенберг были выходцами из социальных групп, утративших привилегированное положение у них на глазах. Для Гумилёва это — русское дворянство (хотя его отец не мог похвастаться длинной галереей семейных портретов), интеллигенция Серебряного века — духовная элита тогдашней России, претендовавшая не меньше чем на миры<sup>30</sup>; для Розенберга — прибалтийские немцы. Оба они уже в зрелом возрасте люмпенизировались, скатились с социального верха на самое дно «дивного нового мира»: Розенберг — в штурмовое движение, Гумилёв — в лагерь. Причём случилось это с ними обоими как раз в том возрасте, когда личность, уже почти сформированная, ищет точку приложения своим силам. Трагично, что в обоих случаях это было следствием русских событий: кризиса рубежа веков, правого и левого экстремизма<sup>31</sup>, и в итоге — революции 1917 года. Однако и эти события пережили многие, но не все же стали националистическими мифотворцами! Да и Россия — не единственная империя, распавшаяся в XX веке: то же происходило на всём огромном пространстве от Берлина и Вены до Пекина и Токио.

Остаётся предположить, что сходство обеих концепций вытекает из общности их принципиальных положений. Иными словами, достаточно принять некоторые общие принципы (внешне выглядящие вполне безвредно) и определённую логику рассуждений, и результат неизбежно, исподволь для самого автора, получится вполне определённым.

Эту основу Мифа следует рассмотреть подробнее. Однако наша задача — не противопоставить «плохие» нацистские мифы каким-то другим — «хорошим»,

---

Ресовского: «Когда, наконец, прекратится это безумие?» (там же: 470). Во-вторых, сам Л. Н. Гумилёв (1992 б) вспоминал, что идея пассионарности пришла к нему в 1938 г., за 30 лет до его знакомства с «Зубром». А текст «Хунну» позволяет считать, что ко времени выхода этой книги (1960 г.) концепция Л. Н. Гумилёва уже приобрела вид, близкий к окончательному.

<sup>30</sup> Вспомним строки Марины Цветаевой, посвящённые рождению Л. Н. Гумилёва: «Северный океан и Южный // И нить жемчужных // Чёрных чётков — в твоей горсти!»

<sup>31</sup> Ознакомившись с этим текстом в рукописи, Э. И. Колчинский и С. Е. Эрлих предложили в качестве ещё одной параллели к творчеству А. Розенберга и Л. Н. Гумилёва рассмотреть В. Е. (З.) Жаботинского — основоположника экстремистского крыла сионизма, которого сам Д. Бен-Гурион называл «Владимиром Гитлером». Ведь и Жаботинский был выходцем из России, и он был вскормлен Серебряным веком, а к крайнему национализму перешёл под влиянием впечатления от еврейских погромов, особенно Кишинёвского (1903 г.). Получилась бы очень пикантная троика: все — выходцы из России, все — крайние националисты (разных наций и даже стран), у всех — идеи, враждебные друг другу, но в основе своей невероятно схожие. Автор, однако, отказался от этой мысли по единственной причине: цель данной работы — именно исторические мифы, а Жаботинский не претендовал на роль историка. Остаётся лишь пожелать, чтобы эту тему поднял кто-нибудь другой.

а найти способы для распознавания и, если понадобится, обезвреживания *любого* исторического мифа, если его вред начинает перевешивать пользу. Разумеется, вред и польза, в свою очередь, понятия ценностные, а значит, ненаучные, но каждый из нас всё же способен определить их хотя бы для себя самого.

Кроме того, если бы нам удалось установить родство только этих двух концепций, то в чём его причины? Их следует искать в предшествующем развитии социального мышления (включая как научное, так и вненаучное). А значит, Розенберг и Гумилёв не одиноки. Они лишь представляют (возможно, с предельной выразительностью) целое направление, возникшее до них и не исчезнувшее после них. Чтобы понять, что же это за направление, нужно попытаться понять его истоки.

Поэтому сопоставим эти две концепции с течениями в философии истории, которые никто всерьёз не относит к историческим мифам (или, как минимум, сами авторы считали, что занимаются научным исследованием, а не мифотворчеством и не политической идеологией). Это позволит нам понять границы между историческим мифом, исторической наукой и обычной, «нормальной» философией, прав и привилегий которой никто пока не отменял. Последняя задача не столь проста, так как границы философии не очерчены с такой же чёткостью, как границы науки.

## II.4. Евразийство

*И в ливрее  
портъе коченя,  
о прошлом жалеет  
зброшенный дед –  
бывший корнет.  
Неподвижен,  
судьбою обижен,  
подобран Парижем,  
он щурится вдаль,  
на Пигаль...*

*Ж. Плант, музыка Ш. Дюмона — Эдит Пиаф. Вальс  
(1962)*

Прежде всего это, конечно, евразийство, продолжателем которого Л. Н. Гумилёв сам себя публично объявил. Это направление заявило о себе во всеуслышание сборником «*Исход к Востоку*» (София, 1921). В его ряды вошли молодые интеллектуалы, искавшие новую формулу единства России (как советской, так и эмигрантской) на основе идей славянофильства, но без его крайностей. Их программа включала союз народов бывшей империи без господства какого-то одного из них (в том числе и русского), отказ от ориентации на Запад и его культуру. Идеалом политической системы им виделась «идеократия» — то есть власть идеи, в сущности — нового политического мифа, стоящего выше как государства, так и любой церкви или партии. Эта идея имела древнюю историю. Уже Иосиф Флавий отличал «теократию», понимаемую им как «власть Бога», от «иерократии» — то есть власти церковников:

«... Одни предоставили управление государством монархам, другие несколькими избранным родам, третьи — непосредственно народным массам. Наш же законода-